

дальнейшей судьбе стихотворения ничего никому не было известно.

Несомненно одно: Воейков получил — и, вероятнее всего, от самого Тютчева или с его ведома — самую последнюю редакцию «Одиночества» и напечатал ее без промедлений, пока два Общества, независимо друг от друга, читали, обсуждали и готовили к печати потерявшие свое значение первую и вторую редакции.

Тютчев успел увидеть свои стихи в печати до отъезда из Петербурга в Москву в мае 1822 года. Около месяца он провел в Москве, а затем вместе с Остерманом-Толстым выехал в Мюнхен к месту своей новой дипломатической службы. Это произошло 11 июня 1822 года.

Он не мог, таким образом, принять непосредственного участия в издании альманаха «Новые Аониды на 1823 год», который затеяли его прежние литературные друзья — С. Е. Раич, М. П. Погодин и другие, — и где в четвертый раз было напечатано его «Одиночество».

Этот текст — последняя прижизненная публикация — и печатается в современных изданиях Тютчева.

Сейчас мы можем утверждать, что такое решение неверно.

Абсолютное большинство, — а, может быть, и все стихи в «Новых Аонидах» были перепечатаны из других изданий, и «Одиночество» не было исключением. Издатели взяли текст из «Русского инвалида»; вероятно, Тютчев еще до отъезда успел рассказать им ту историю, о которой мы узнаем только теперь. Но в отсутствие Тютчева они слегка подправили в нем то, что казалось им стилистическими и грамматическими неправильностями (заметим, к слову, что стремление подредактировать своенравного поэта было свойственно его издателям и позднее).

В третьей строке они изменили будущее в значении настоящего: у Тютчева — в «Соревнователе» и «Русском инвалиде» — было:

И разовьются предо мной
Разнообразные вечерние картины!

В «Новых Аонидах» стоит: «И развиваются передо мной...».

«Луна медлительно к полуночи восходит...» — пишет Тютчев. В «Новых Аонидах» — «с полуночи», противу всякого вероятия. Может быть, это даже не редаKTура, а опечатка.

«Встают гроза и вихрь и лист крутят пустынный...» — так звучит строка 45 во всех ранних публикациях. Издатели «Аонид» исправляют: «Встает... крутит...». Все остальное почти буквально совпадает с текстом «Русского инвалида».

Пока мы не знали ни этого последнего, ни публикации «Соревнователя», можно было думать, что сам Тютчев передал в «Новые Аониды» неизвестную доселе редакцию своего перевода. Сейчас такое предположение должно отпасть.

На этом мы могли бы закончить наш текстологический розыск. Но остается одна мелочь, заслуживающая, однако, внимания. Вновь обнаруженные публикации «Одиночества» подписаны «Н. Тчв». Это криптоним, усечение подписи «Н. Тютчев», которая традиционно считается «ошибочной». Но ошибка, повторенная несколько раз, производит впечатление преднамеренной, возможно, идущей от самого Тютчева.

Почему он подписывался псевдонимом, случаен ли выбранный им инициал, словно переадресовавший его ранние стихи нежно любимому брату Николаю, самому близкому ему человеку с самого детства? Или все объясняется проще — особенностями его почерка? Присмотритесь к его подписи: заглавная «фита» в инициале имени в самом деле может быть прочитана как «Н».

Все это нам предстоит еще понять.

Впервые: Русская речь. 1989. № 4.

¹ См. Пигарев К. В. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962. С. 36—38.

² Ошоват А. Л. Из материалов для биографии Тютчева // Известия АН СССР. Отд. литературы и языка. Т. 45. 1986, № 4. С. 350—351.

³ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. I. С. 167.

⁴ См. Русский архив. 1868. Стлб. 1857.

⁵ Пигарев К. В. Указ. соч. С. 39—40.

Рассказы о Денисе Давыдове

16(27) июля 1784 года у кавалерийского офицера Василия Денисовича Давыдова родился мальчик, которому суждено было вписать свое имя и в русскую историю, и в историю русской поэзии.

И в той, и в другой Денису Давыдову принадлежит свое, особое и неоспоримое место, хотя эпоха, в которую он жил, была богата и героями, и поэтами. Его портрет находится в Военной галерее Зимнего дворца, этом своеобразном пантеоне Отечественной войны — портрет выдающегося военачальника, одного из организаторов партизанской войны во время наполеоновского нашествия. В сознании поколений Давыдов рисуется в ореоле битв двенадцатого года, — но и двенадцатый год неизбежно связывается с именем Давыдова. И та же судьба ждала Давыдова-поэта: у него учился юный Пушкин, и в пляде имен, обозначающих для нас пушкинский период русской поэзии, имя Давыдова осталось, а стихи его до наших дней не утратили своего поэтического обаяния.

Этот человек, уже при жизни ставший легендой, положил отпечаток своей личности на целую эпоху. Даже Лев Толстой, непримиримый противник всякого рода возвышающих обманов, не обошелся в «Войне и мире» без обаятельного образа гусара Васьки Денисова.

Историческая судьба Давыдова была счастлива, — но в личной и общественной судьбе его были эпизоды и целые периоды, полные глубокого драматизма. Такова была участь подлинной и передовой культуры, к которой он принадлежал. Он прошел ту же школу, что и будущие декабристы, — и хотя пути их разошлись, он так и остался вечным вольнодумцем и оппозиционером и в жизни, и в поэзии.

Эта формула — «жизнь и поэзия» — в его глазах составляла единство. Он горделиво аттестовал себя «одним из самых поэтических лиц русской армии». Стоя в преддверии русского романтического движения, он усвоил себе эстетику романтического жизнения и видел поэзию во всем том, что выходило за уровень житейской ординарности и размеренности. «Поэзией» для него были: воинское вдохновение Суворова и Наполеона; партизанская война — в противовес обдуманному и рассчитанному движению регулярных войск; грубоватая непосредственность чувства и выражения — в противоположность светскому этикету.

Бегу вас, сборища, где жизнь в одних ногах,
Где благосклонности передаются весом,
Где откровенность в кандалах,
Где тело и душа под прессом;
Где спесь да подлости, вельможа да холоп...
(Гусарская исповедь, 1832).

Поэтичным было писать стихи при свете бивачного костра и в виду неприятельских бастионов, — и он стремился внушить своим читателям, что делал именно так, — несколько греша против истины; поэзия заключалась и в том, чтобы демонстративно объявлять себя солдатом, а не поэтом:

Я не поэт, я — партизан, казак...

Но он был поэтом, — и не между делом занимался литературной работой; она заполняла его жизнь, была неизбежностью и необходимостью, и Давыдов прекрасно знал, что она требует ремесла, чтобы стать искусством. Он отшлифовывал свои стихи с педантическим упорством; искал знатоков и требовал от них придирчивой критики. Его судьями были Жуковский, Вяземский, а потом Пушкин, Баратынский, Языков.

О Давыдове написаны романы и научные исследования, — но многое в его жизни и творчестве остается еще скрытым от нас, и каждое новое обращение к ним чревато и новыми находками, и новыми неясностями. То, что предлагается далее читателю, — это не целостная биография, но несколько этюдов к большой биографии, которая когда-нибудь будет написана; они основаны на материалах вовсе неизвестных или известных лишь узкому кругу специалистов; рассказ о судьбах человеческих и судьбах поэтического слова, которое тоже имеет свою жизнь и свою историю.

ТРИ РУКОПИСИ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

В середине десятых годов Давыдов становится членом «Арзамаса» — литературного общества, формировавшего и юного Пушкина. Здесь задавали тон Жуковский, Вяземский, Батюшков, здесь читали и обсуждали стихи и прозу и вынашивали замыслы изданий.

«Арзамасцы» любили и его самого, и его стихи, «крученые», как говорил потом Пушкин. Они напоминали им пробку шампанского, рвущуюся в потолок, блеск и звободу затянувшейся за полночь дружеской беседы. Они были достоянием русской культуры и достижением ее, — и непозволительно было дать им рассеяться, затеряться на страницах старых журналов, исказиться в рукописных копиях, сделанных Бог весть кем и Бог весть как.

Давыдова нужно было издать.

1. «Арзамасский журнал»

Среди бумаг Жуковского в Российской Национальной (прежней Публичной) библиотеке в Санкт-Петербурге хранится лист с перечнем произведений, назначавшихся для «арзамасского журнала». Его опубликовал почти сто лет назад замечательный археограф и архивист И. А. Бычков¹.

Журнал не состоялся; осталось только намеченное оглавление. Предполагалось включить стихи и прозу Жуковского, Вяземского, Василия Пушкина, Батюшкова, Д. Давыдова и других, — а может быть, если удастся, и Карамзина, и Дмитриева, и Александра Пушкина.

Под этим перечнем стоят арзамасские прозвища участников, записанные собственноручно. Подписались С. П. Жихарев, Давыдов, В. Пушкин, Жуковский, Вяземский, Д. Н. Блудов. Это было целое собрание «арзамасцев», не отмеченное в традиционных протоколах.

Все эти люди могли собраться вместе только в Москве и только между серединой декабря 1817 года, когда сюда приехал Блудов, и январем 1818 года, когда Вяземский уехал в Варшаву.

Денис Давыдов должен был дать в журнал двенадцать стихотворений, не считая эпиграмм, — больше чем все другие. Это был целый маленький сборник «неизданного Давыдова», в котором значилось и знаменитое «послание к Бурцову» (Бычков неверно прочел «к Барщеву»), расходившееся в списках и изустно.

Список этот любопытен по многим причинам. В нем, например, названы стихи, которые считаются написанными позже. Таков «Решительный вечер» — одно из известных стихотворений Давыдова:

Сегодня вечером увижусь я с тобою,
Сегодня вечером решится жребий мой,
Сегодня получу желаемое мною —
Иль абшид на покой!

Считалось, что эти стихи (в некоторых списках носящие название «К невесте») обращены к будущей жене Давыдова — Софье Николаевне Чирковой. Но к январю 1818 года они не были знакомы близко, — а может быть, и вообще не были знакомы. И отец Софьи Николаевны, генерал Чирков, уже двенадцать лет покоился в могиле, — а в ранней редакции «Решительного вечера» вторая строка читается: «Сегодня пред отцом в словах не лицемерь».

Мы могли бы предположить, что за всем этим стоит поэтический вымысел, а не реальный факт, — если бы не знали, что в 1816 году Давыдов сватался в Киеве к Елизавете Антоновне Злотницкой, что переговоры велись тогда именно с отцом, что произошла помолвка, и в последний момент, уже накануне свадьбы, Злотницкая предпочла Давыдову адъютанта Н. Н. Раевского князя Голицына².

Все эти ассоциации подсказывает нам дата. Давыдов собирался печатать старые стихи к Злотницкой, связанные с эпизодом для него мучительным, — и делал это потому, что самые стихи были фактом не биографии, а поэзии.

Но еще важнее, что несостоявшаяся публикация была лишь звеном в цепи других — также несостоявшихся замыслов, к которым и «арзамасцы», и Давыдов имели самое непосредственное отношение.

2. Невышедший сборник

Следы этих замыслов обнаруживаются там же, в Российской национальной библиотеке, — но среди бумаг уже не Жуковского, а Вяземского.

Две маленькие тетрадки под номерами 97 и 98, заполненные аккуратным, официальным писарским почерком. На первой надпись: «Элегии и мелкие стихотворения Дениса Давыдова»; на второй — «Некоторые сочинения Дениса Давыдова». Пометы на обложке гласят, что обе они были в свое время в бумагах журналиста и поэта А. Ф. Воейкова и потом попали к Вяземскому.

Воейков был знаком с Давыдовым и печатал его стихи. Вяземский был одним из ближайших друзей и литературных советчиков поэта.

Уже одного этого было бы достаточно, чтобы заинтересоваться тетрадками, хотя стихи здесь в копиях, а не в автографах. Но этого мало.

Кто-то читал эту рукопись. И не просто читал — делал исправления. Заглавие ее аккуратно зачеркнуто и сверху написано: «Стихотворения Дениса Давыдова».

Перелистываем тетрадь. Девять пронумерованных элегий: 1. Восторг. 2. Заточение. 3. Договор. 4. Оправдание. Пятая не имеет заглавия, — это элегия «В ужасах войны кровавой...». 6. Ответ на вызов написать сти-

хи. 7. Угрозы. 8. Утро. Девятая опять без заглавия — «Нет! полно пробегать с улыбкою любви...». Больше в сборнике ничего нет; часть тетрадки не сохранилась.

Книга элегий, хорошо известных всем, кто знаком с творчеством Давыдова. Но откуда взялись их заглавия? Их нет ни в одном издании Давыдова, — и прочитав оглавление, даже знаток не скажет, что, например, «Восторг» — это памятные ему стихи:

Возьмите меч — я недостоин брани!
Сорвите лавр с чела — он страстью помрачен!

Правда, однажды, в 1829 году альманашик М. А. Бестужев-Рюмин напечатал «Угрозы» и «Утро». Но Бестужев-Рюмин не церемонился с авторами, которых печатал, и возникло предположение, что он сам озаглавил стихи. Сейчас как будто с него снимается подозрение — названия явно придуманы не им.

Но что это? Против шестой элегии на полях карандашная надпись: «Эти стихи должно выкинуть — они ошибкой замешаны в элегиях».

Почерк Жуковского! Это он читал и редактировал рукопись, он поменял заглавие и номера после пятого, передвинув их на один влево.

Нет никакого сомнения, что он просматривал сборник для печати: иначе все эти поправки не имели бы смысла. Но когда?

На бумаге водяной знак «1814». Значит, тетрадь была заведена не ранее этого года.

Попробуем определить точнее. В сборник вошли элегии, напечатанные в 1817 году и, вероятно, вскоре после написания. Двух самых поздних элегий — 1818 года — здесь нет: по-видимому, их еще не существовало.

Итак, 1817—1818 годы — то самое время, когда составлялся журнал с участием Давыдова. И тогда же «арзамасцы» стали готовить собрание его стихов, — первый, не состоявшийся сборник Давыдова, о котором мы до сих пор ничего не знали.

Давыдова нужно было издать.

3. Запрещенный товар

А вторая тетрадь?

Попробуем датировать и ее. Водяной знак «1817». Стихи все ранние, — но вот одна зацепка: в 1820 году

Воейков напечатал одно стихотворение — «Мою песню» явно по этой тетради. В одном стихе испорчен текст: переписчик не разобрал почерка Давыдова. Этот самый стих Воейков и отредактировал: он был непонятен.

Вторая тетрадь заполнялась не ранее 1817 и не позднее 1820 года.

В ней тоже есть маленькая поправка карандашом, — стало быть, ее читали литературные советчики, как и первую. Может быть, правил тот же Жуковский, — но уверенности в этом нет: по одному слову трудно определить почерк. Несомненно одно: Давыдов причастен к ее составлению: редакции стихов, заключенных в ней, несомненно авторские.

Может быть, она тоже готовилась для печати?

В ней есть раздел «Элегии», «Басни», «Смесь», — все как в печатных сборниках. Но печатный сборник вряд ли можно было бы назвать «Некоторые стихотворения».

Если же мы взглянем на содержание тетради, наше предположение отпадет само собой. В раздел «Басни» включены «Голова и ноги» и «Быль или басня, как кто хочет назови», известная более под названием «Река и зеркало». Это были две бесцензурные басни, за которые Давыдов пострадал в молодости: его перевели тогда из гвардии в армейский Белорусский гусарский полк, на далекую окраину, — и с тех пор за ним прочно закрепилась репутация «неблагонамеренного».

«Голову и ноги» знали наизусть все «недовольные», особенно из будущих декабристов.

О напечатании такого сборника не приходилось и думать, — и готовился он, конечно, не для печати.

Давыдов писал о себе, что он «по обстоятельству из числа тех поэтов, которые довольствовались рукописною или *карманною* славой. Карманная слава, как карманные часы, может пуститься в обращение, миновав строгость казенных дозорщиков. Запрещенный товар, как запрещенный плод: цена его удваивается от запрещения»³.

Второй сборник Давыдова был таким «запрещенным товаром»; цена же его с течением времени не удвоилась, а утроилась и усемерилась. Дело в том, что ни одна из басен, о которых идет речь, не дошла до нас в автографе. Существуют списки разных редакций — сам Давыдов все время усовершенствовал тексты, — списки разной достоверности, искаженные при многократном переписывании. Копии сборника Публичной библиотеки

тоже не вполне безгрешны, — но они гораздо точнее других и, что важнее всего, показывают, какой вид приобрели басни в очень позднее время — в конце 1810-х годов. И они позволяют поправить в известном нам тексте некоторые места, в которых исследователи давно уже заподозрили ошибку. Так, выясняется, что самое название — «Быль или басня, как кто хочет назови...», заменившее в некоторых списках традиционное «Река и зеркало», — не произвол переписчиков и читателей, а авторское название поздней редакции; что несколько стихов басни следует читать иначе, чем это делалось до сих пор... Но это уже особая история — история текста, а сейчас мы должны вернуться к нашему рассказу, который подошел к своему концу.

Что случилось далее со сборником «Стихотворения Дениса Давыдова»? Почему он не появился в свет? Здесь могло быть несколько причин. Быть может, отлучка Давыдова, возвращавшегося на Украину, где он служил в это время; может быть, женитьба в 1819 году, отвлекшая его от литературных дел; может быть что-то третье, нам неизвестное. В 1826 году молодой литератор М. В. Юзефович спросил его, почему он не соберет и не издаст своих стихотворений. «Эк, братец, к чему? — ответил поэт. — Ведь их и без того все знают наизусть», — и помолчав, прибавил: «А издай их, — выйдет книжонка; да они врозь не так и приедаются»⁴.

Он написал за свою жизнь менее сотни стихотворений, напечатал много меньше. В 1832 году он решился, наконец, издать сборник — тридцать девять стихотворений. Второго сборника, подготовленного в конце жизни, он уже не успел увидеть. Но и то немногое, что он создал, позволило Белинскому причислить его к «самым ярким светилам второй величины на небосклоне русской поэзии»⁵.

СТАРЫЕ ГУСАРЫ

Где друзья минувших лет?
Где гусары коренные,
Председатели бесед,
Собутыльники седые?

Более ста пятидесяти лет живут эти давыдовские строчки, и с ними вместе живет легендарный образ гусара старого времени в ореоле героических сражений и гомерических кутежей. У него даже есть имя: Бурцов.

Жесточайший из угаров
И наездник на войне!
Бурцов, ты гусар гусаров!
Ты на ухарском коне

Бурцов, ера, забняка,
Собутыльник дорогой...

Имя Бурцова пережило своего носителя; поэзия продолжила ему жизнь на полтора столетия с лишком. О нем писали стихи, — и не один Давыдов, но и те, кто знал давыдовские послания:

О! Бурцов! Бурцов! честь гусаров,
По сердцу Вакха человек!

Это строки из целой посмертной оды, включенной Вяземским в послание к Давыдову — «К партизану-поэту» (1815).

«В наше время буйство было в моде; я был первым буйном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым...».

Слова Сильвио из пушкинского «Выстрела».

Биография легендарная, биография поэтическая. Сейчас мы почти ничего уже не знаем о реальном человеке, адресате «залетных» посланий Давыдова; Бурцов уже даже не прототип — он литературный герой, храбрец, брестер и кутила, символ бесшабашной гусарской вольницы.

Известно доподлинно, что он служил в Белорусском гусарском полку, квартировавшем в окрестностях Звенигорода Киевской губернии, куда 13 сентября 1804 года за вольнодумные стихи был переведен гвардейский поручик Денис Давыдов. Здесь они и познакомились, и здесь же родились послания, создавшие поэтическую биографию Бурцова:

Бурцов, брат, что за раздолье!
Пунш жестокий!.. Хор гремит!
Бурцов, пью твое здоровье...

Это стихи из «Гусарского пира» Давыдова.

А потом началась война двенадцатого года, и Бурцов с нее не вернулся. П. И. Бартенев, известный историк, племянник знаменитого гусара, рассказывал, что причиной гибели дяди было отчаянное гусарское молодечество; Аполлон Марин, троюродный брат Бурцова, слышал, что храбрый солдат скончался от ран, полученных в сражении...⁶. Художественный образ из сти-

хов Давыдова теснил историческое лицо: оно получало две биографии. Какая была истинной — неизвестно: реальный Бурцов почти утрачен историческим знанием.

Он стал символом, конкретным воплощением собирательного образа «старого гусара». И он вбирал в себя чужие биографии.

Дело в том, что «Гусарский пир», из которого мы только что цитировали строчки, был, кажется, обращен вовсе не к Бурцову. И здесь начинается история совершенно особая.

«Гусарский пир» Денис Давыдов готовил к печати дважды.

Вторая, последняя публикация, где было названо имя Бурцова, вышла в свет уже после его смерти.

Первый же раз он напечатал эти стихи с зашифрованным именем. Вместо «Бурцова» там стояло:

Ф....., пью твое здоровье!
Будь, гусар, век пьян и сыт!

Никаких сведений об этом «Ф.....» в литературе о Давыдове нет. Высказывали осторожное предположение, что Давыдов мог обращаться к старинному своему приятелю Федору Толстому, — но тут же возник и контрдовод: Толстой не был гусаром. Да и писался он через «фиту», а в сборнике «Стихотворения Дениса Давыдова» 1832 года первая буква фамилии — «ферт», современное «ф».

В исторических и мемуарных записках Давыдова «1812 год» есть одно место, где упоминается человек по фамилии «Фиглев».

Давыдов рассказывал о партизанском движении в 1812 году.

«...Прибавим <...> отряд Дорохова и партию Славина, производившие поиски между Смоленской и Боровской дорогами, в направлении к Вязме, отдельные команды: князя Вадбольского — между Верей и Можайска, Бенкендорфа — между Можайска и Волоколамска, Чернозубова — между Можайска и Сычевки, Фиглева — в окрестностях Звенигорода, и мою партию — между Гжатью и Дорогобужем...».

Итак, в 1812 году был некто Фиглев, почти соратник Дениса Давыдова, имевший воинскую команду в окрестностях Звенигорода. Фамилия его пишется именно через «ферт» и хорошо укладывается в строчку:

Фиглев, пью твое здоровье...

Гипотеза соблазнительна, — но ведь речь идет о времени более позднем, чем то, которое отразилось в интересующих нас стихах. И по теме, и по стилю они явно примыкают к «бурцовским посланиям» 1804 года, — и в них есть явный намек на то, что гусар, писавший их, еще не видел настоящего сражения:

Лучше б в поле закричали...
Но другие горло драли:
«И до нас придет пора!»

В записках о двенадцатом годе к фамилии «Фиглев» сделано примечание: «Не надо принимать Фиглева за Фигнера. Первый служил в Белорусском гусарском полку, а последний — в артиллерии. Первый находился в отряде генерала Винценгероде, а последний был партизаном...»⁷

«Служил в Белорусском гусарском полку...». В том самом, где служили Бурцов и Давыдов. Но когда?

Давыдов пробыл здесь только до июля 1806 года; в сентябре он уже был в Петербурге.

Тут могла бы помочь подробная биография Фиглева, — но ее нет ни в историко-литературных, ни в исторических трудах. Имя его не упоминается в существующих справочниках по истории Отечественной войны 1812 года, ни в списках погибших или награжденных.

Впрочем, в одном источнике оно все же есть.

У Ивана Сергеевича Тургенева в юности был друг Миша Фиглев, скончавшийся 18(30) ноября 1836 года, девятнадцати лет от роду. «У меня всего было 2 друга, — писал в 1840 году будущий автор «Записок охотника», — и первого звали Michel. Он умер; мы с ним вместе росли, вместе дожили до 18 лет — и он умер»⁸.

Известен маленький этюд Тургенева «Михайла Фиглев» и несколько писем к его отцу, Сергею Михайловичу. Будущий великий писатель знал всю семью, — семью, к которой принадлежало, быть может, лицо, сейчас нас интересующее. Но и в тургеневских материалах о семействе Фиглевых остались лишь скудные сведения.

«Русский провинциальный некрополь» сообщает нам, что подполковник лейб-гвардии Преображенского полка Сергей Михайлович Фиглев (1786—1873) похоронен в селе Покровском на Осуге, Зубцовского уезда, и что был еще Василий Михайлович Фиглев, — видимо, его брат, — родившийся в 1779 и скончавшийся в 1848 году в чине

действительного статского советника, — и что прах его покоится в Старицком уезде Тверской губернии.

Быть может, один из них и является тем лицом, которое мы ищем?

В Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге, в фонде департамента герольдии хранится дело о внесении герба рода Фиглевых в общий гербовник дворянских родов Российской империи⁹. Это дело и дает нам разъяснения, совершенно неоценимые.

Меньше всего здесь документов о Мише Фиглеве, — но и то что есть, дополняет факты, которыми мы ранее располагали. Он родился 1 сентября 1817 года; когда ему было двенадцать лет, его собирались определять в военную службу. Прошение о выдаче ему документов подавали отец и дядя — Василий Михайлович; оба брата, видимо, были дружны. И оба прошли войну двенадцатого года; Сергей Михайлович был в чине флота лейтенанта, а «по вступлении его Тверского ополчения в Конно-казачий полк, переименован был по высочайшему повелению в декабре месяце 1812 года в ротмистры».

Почти нет сомнения, что юный Иван Тургенев слышал от него рассказы о событиях, которых он был свидетелем и участником.

Но если он встречался с братом его Василием Михайловичем, он мог слышать вещи еще более примечательные. Ибо Василий Михайлович был поистине личностью незаурядной, — сейчас мы можем почти с уверенностью утверждать, что на месте имени Бурцова в «Гусарском пире» Давыдова некогда стояло его имя.

Василий Михайлович Фиглев происходил из дворян Тверской губернии, воспитывался в Пажеском корпусе и в 1796 году вступил в службу в Санктпетербургский драгунский полк поручиком. В 1799—1800 годах он был в германском и швейцарском походах — итак, он застал еще Суворова. 26 сентября 1799 года он участвовал в сражении с французами на Рейне. По окончании войны, 14 июля 1803 года, был переведен во вновь организованный Белорусский гусарский полк и через три дня получил чин штаб-ротмистра.

Когда — через год — Денис Давыдов вступил в этот полк, он застал в нем наряду с Бурцовым и другого боевого офицера, всего пятью годами старше себя, уже окуренного пороховым дымом, послужившего при кумире его — Суворове. У него были все основания произнести своему новому знакомцу поэтическую здравницу.

Они вскоре расстались: в 1805 году Фиглев получил длительный отпуск и вернулся только 15 марта 1806 года. Летом этого года, как мы уже упоминали, Давыдов был переведен в лейб-гвардии гусарский полк, а Фиглев отправился на турецкий фронт, сражался в Молдавии, Валахии и Бессарабии, преследовал неприятеля до стен Бухареста, брал город и осаждал Журжу и Измаил. При Измаиле, в 1807 году, «во время вылазки 26 мая неприятель был разбит и часть того потоплена в реке Сарра», — сообщает формуляр; июня же двенадцатого «при отбитии батарей и по занятии которой при атаке повсюду неприятель покушавшийся был опрокинут и прогнан до самых крепостных стен...». За эти подвиги Фиглев получил награды: ордена св. Владимира 4 степени с бантом и св. Анны 2 степени, — а в январе 1808 года «по повелению его высочества» был командирован «в мызу Стрельку для узнания порядка службы».

Что значит эта бесстрастная лаконичная запись в формуляре? Какого «порядка службы» не знал этот отчаянный храбрец, то и дело рисковавший жизнью под крепостными стенами? Была ли эта командировка поощрением или (что скорее) напротив — следствием мгновенного гнева «его высочества», для которого «порядок службы» заключался в умении тянуть носок на смотру? Нам это неизвестно.

Мы знаем лишь, что в октябре 1809 года Фиглев был за Дунаем, в ноябре в Валахии, в июле 1810 года вновь за Дунаем, а 22 июля участвовал в злосчастном Рушукском штурме. В это время Давыдов тоже сражался в Молдавии и Валахии, но путь его пролегал иначе: Мачин, Гирсов, Рассеват, Татарница... В мае — июне он участвует во взятии Силистрии и в бою под Шумлой. Лишь Рушукское сражение было для них общим.

Вероятно, они и не встретились. Давыдов приложил все усилия, чтобы покинуть Молдавскую армию. Он служил не за страх, а за совесть, куда командующим был Багратион; когда же в феврале 1810 года он вынужден был удалиться, сдав командование графу Каменскому, когда новый начальник стал освобождаться от лучших полководцев армии, когда Н. Н. Раевский был отставлен, а Кульнев, отстегнув саблю, бросил ее к ногам новых вершителей военных судеб, — тогда ушел и Давыдов. Фиглев остался: его меньше заботили распри командования; он был солдат и только солдат. 28 и 31 июля 1810 года он находится: «при селении Белом,

августа 16 при селении Батине, 26 при разбитии и истреблении неприятеля при оном же, октября 22 при взятии города Никополя, ноября 1 при деревне Бакаш в действительных сражениях, а 13 обратно в Молдавию...» В конце ноября «за отличие в сражении» он получает чин майора, — а 20 декабря 1810 года увольняется от службы «тем же чином с мундиром». Война заканчивалась для него — но ненадолго.

12(24) июня 1812 года войска Наполеона вступили на территорию России. Начинаясь новая война, открывшая целую эпоху в русской и европейской истории.

Наполеон шел к Москве.

В августе Давыдов представляет Багратиону свой план ведения партизанской войны и начинает действовать во главе маленького отряда из ахтырских гусар и казаков.

19 августа братья Фиглевы поступают в Конно-казачий полк Тверского ополчения.

И здесь позволительно сделать еще одно предположение.

В одном из неопубликованных писем Давыдова к П. Н. Ермолову есть пересказ слов Вяземского, сказанных по поводу его элегии «Бородинское поле»: «Вяземский сделал замечание, что нельзя сказать «влекут», ибо тот, кто влечет, необходимо должен идти впереди, — а лучше сказать (говорит он) «изгнали»; кто толкает, тот не влечет и вовсе непривлекателен. Я невольно вспомнил двух Ф»¹⁰.

Существо этого замечания станет нам ясно позднее, когда речь пойдет о «Бородинском поле». Сейчас нам важна последняя фраза.

Не о «двух» ли «Фиглевых» (заметим, в инициале опять «ферт», а не «фита»!) идет в ней речь? Двух братьях, в один день поступивших в ополчение, из которых один — «коренной гусар», а другой — лейтенант флота, переименованный в ротмистры, и притом семью годами моложе?

Ограничимся пока вопросом: на него у нас нет ответа.

В 1812 году, рассказывает формулярный список Василия Фиглева, он «был командирован с 160 казаками к Вязме, октября 20 разбил неприятельскую конницу, забрал в плен 195 и положил на месте до 200 человек, ноября 1-го при Смоленске, командуя двумя сотнями

Тверского ополчения, поражал неприятельские колонны и забрал в плен...».

Вот что имел в виду Денис Давыдов, говоря о Фиглеве, действовавшем в окрестностях Звенигорода!

«1813 по повелению главнокомандующего польскою армиею прикомандирован к отряду легких войск, состоящих под командою генерал-майора Крейца и по препоручению его командуя всеми передовыми постами и 6-ю казачьими полками, был в сражениях: октября 6-го при городе Лейпциге, 7-го при взятии оного, где с четырьмя казачьими полками сбил неприятеля с места, несколько раз удачно атаковал и способствовал к победе, с 8-го в преследовании неприятеля, того ж числа при деревне Зазау, 9-го при взятии города Бейсенфельса, где и взял одно орудие и 1600 пленных, 11-го при выгнании французов из местечка Неймарк, 12-го в атаке при деревне Тотлебен и Керслебен, в преследовании неприятеля до укрепления Эрфурта, 13-го в сражении при сей крепости, 27-го при атаке под крепостью Молдебургом <Магдебургом> и по 1-е декабря при блокаде в окрестности оной в разных стычках и перестрелках, за каковое успешное и неусыпное командование получил благодарность от главнокомандующего; напоследок переведен с казачьими полками в отряд генерал-лейт[ант]а Чаплица для содержания передовых постов под городом Гамбургом, где с отличным усердием и деятельностью при бывших на неприятеля в разные времена нападениях успешным действием много способствовал к удачному окончанию дел».

Все эти воинские успехи старинного знакомого были в поле зрения Давыдова. Фиглев служил под командованием Винценгероде, как и сам Давыдов, и числился по Белорусскому гусарскому полку. Полковые командиры белорусцев были известны Давыдову наперечет.

И ему, конечно, было известно, что за «отличную храбрость» под Лейпцигом — в грандиозной и чудовищной «битве народов», где в первый же день сложило головы семьдесят тысяч человек, — майор Фиглев был награжден орденом св. Владимира 3 степени, а «за отличные труды, мужество и храбрость при нападениях в разные времена на неприятеля под городом Гамбургом» получил золотую саблю с надписью «За храбрость».

И что он получил прусский орден «За достоинство», как некогда и сам Денис Давыдов после Прейсиш-Эйлауского сражения.

В 1817 году окончилась его военная служба, продолжавшаяся без малого двадцать лет — почти двадцать лет непрерывных походов, осад, преследований, рукопашных схваток и артиллерийских канонад. Он сменил воинскую амуницию на вицмундир удельного ведомства, переименовался из подполковников в надворные советники и служил управляющим Тверской удельной конторы, а в 1833 году уволился по прошению и жил в своем имении в Тверской губернии. Историческая жизнь его кончилась — началась жизнь частная.

Об исторической жизни «старого гусара» напоминает нам теперь загадочная строка Дениса Давыдова.

Последнее «дело» партизана Давыдова

Генерал-лейтенант Александр Иванович Михайловский-Данилевский составлял историю войны 1812—1814 годов.

Это было давнее его увлечение. Еще не прошло десяти лет после начала кампании, еще Наполеон был жив, когда Михайловский принялся собирать материалы. Он сам был участником событий, он проделал и заграничный поход и напечатал о нем свои воспоминания. Теперь его интересовали чужие. Он обратился к ветеранам-военачальникам; многих он знал лично, — и на его стол легли составленные некогда и написанные заново записки и письма. Коллекция его была уникальна.

В конце тридцатых годов он получил официальный заказ — и с ним официальные документы. Он проштудировал их с истинно геттингенской добросовестностью (сам он когда-то учился в этом университете) и убедился в их недостаточности. Картина возникала неполная и односторонняя; ее предстояло пополнить, исправить и описать не только происшествия, но и лица.

Он продолжал писать письма с вопросами и просьбами о справках и пояснениях. Не обошел он и Дениса Васильевича Давыдова — старинного своего знакомца. Письмо его взволновало Давыдова: оно касалось болезненных струн.

...Шел март 1813 года.

Отряд Давыдова, входивший в корпус генерала Ф. Ф. Винценгероде, приблизился к Дрездену.

Давыдов решил взять город на свой страх и риск. Он заключил перемирие с оборонявшимся Дрезден генерала-

лом Дюрютом, выработал условия сдачи и вошел в Новый Город, не спросив у главного командования. Это стоило ему чуть не всей его военной карьеры; его ожидал военный суд. Заступничество Кутузова спасло его; Александр I, хотя и весьма недолюбливавший Давыдова, сказал, что победителей не судят, — и победитель был возвращен в армию, но уже не на прежнее место. Этот эпизод Давыдов помнил до конца жизни, и еще в 1836 году пытался напечатать в «Современнике» у Пушкина свою мемуарную статью о занятии Дрездена, — но безуспешно; сам же Михайловский-Данилевский, входивший тогда в военно-цензурный комитет, требовал убрать весьма ядовитое описание Винценгероде. Статья появилась в урезанном виде, и обида на Михайловского осталась⁴¹.

Старые и новые обиды вставали перед Давыдовым, когда он читал просьбу историка и цензора.

В 1814 году за сражение под Ларотьером он был произведен в генерал-майоры. Это было, наконец, признанием его военных заслуг; до сих пор, как считал он, — и считал не без оснований, — его деятельность партизана намеренно отодвигалась в тень; от него ждали соблюдения субординации, а не воинской инициативы или даже подвигов. В конце того же 1814 года — с умыслу или случайно — в газетах появилось опровержение: производство Давыдова было объявлено ошибкой. Он был оскорблен смертельно, хлопотал, жаловался, — наконец, добился (через год!) восстановления справедливости. Теперь Михайловский хотел, чтобы он описал свои походы и сражения именно четырнадцатого года.

Он опишет их, — и опишет так, как они были на самом деле, — во всяком случае так, как он их видел и чувствовал. Он покажет бездарность «немцев», которые ныне — в 1838 году — возобладали в русской армии, оттеснив военачальников суворовской школы и посеяв дух парадов, учений и штабных канцелярий. Историк, литератор, поэт, памфлетист, он уже пытался воскресить дух двенадцатого года в нескольких статьях, только что напечатанных: «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?», «Разбор трех статей, помещенных в Записках Наполеона». Это были статьи о русской армии в целом.

Теперь ему предлагалось написать о себе. И он сделал это.

Так появилось письмо, которое нам предстоит прочитать.

Неизданных писем Дениса Давыдова десятки, если не сотни. Он писал много — о своей службе, хозяйственных заботах; он отправлял коротенькие незначущие записки своим многочисленным знакомым. Но в этом разнородном и неравноценном эпистолярном наследии есть письма, полные захватывающего интереса. Когда Давыдов пишет Пушкину или Языкову, или Вяземскому о поэзии, П. Д. Киселеву — о политике и общественной жизни, А. А. Закревскому — о себе самом или Е. Д. Золотаревой — о своей любви к ней, — его речь преобразуется, обретая те «резкие черты неподражаемого слога», которые находил Пушкин в стихах и прозе Давыдова.

И таково же лежащее перед нами неизвестное письмо Давыдова к Михайловскому-Данилевскому, сохранившееся в Российской Национальной библиотеке среди бумаг историка Н. К. Шильдера¹² (Отчет Публичной библиотеки за 1903 год, стр. 101) — мемуары, автобиография, история и памфлет, живая речь и эпистолярное искусство, документ и художественная проза.

Д. В. Давыдов — А. И. Михайловскому-Данилевскому

8 июня 1838 г. Москва

Я виноват перед вами, любезнейший Александр Иванович, что медлил ответом на милое письмо ваше. Медлению моему много было причин. Пребывание в Москве императора, и, следственно, представления, балы, парады, ученья, гулянья и пр., а потом сбор мой к отъезду еще на год в дальнюю деревню, все это увлекло меня от пера и бумаги. Теперь я свободен, и первая строка вам посвящается.

Вы хотите знать некоторые подробности кампании 1814 года во Франции. Но об этой кампании я ничего вам не могу сказать более того, что уже о ней известно. Я в течение ее служил в рядах и потому далее моего носу не мог видеть, — а нос мой не длинен.

Про себя скажу вам, что я все время командовал Ахтырским гусарским полком в 3-й Гусарской дивизии, находившейся тогда в армии Блюхера. Был в сражениях — под Бриеном и под Ларотьером; за последнее про-

изведен был в генерал-майоры. Был под Монмирелем, до небес превознесенном французами и не стоящем этой славы, но замечательным нелепостью соображения Сакена, атаковавшего сильнее правым флангом, тогда как следовало ему атаковать левым, для связи оною с атакою Иорка, пришедшего от Шато-Тиери, единственного убежища и Иорка и Сакена в случае неудачи. Посредством такового распорядка войска наши, дравшиеся на правом фланге, остались на произвол судьбы, когда от напора превосходного в силах неприятеля и Сакен, и Иорк принуждены были отступить к Шато-Тиери. Но так как русскому солдату определено провидением выносить на мощных раменах и на трегранном штыке своим все ошибки своих начальников, — отрезанные войска пробивались долго сквозь вдесятеро сильнеешего неприятеля и соединились к утру с главными силами.

Я был в Краонском сражении, битве ужасно горячей. Говорят, что спасло нас местоположение, не позволявшее неприятелю, вдесятеро нас сильнеешему, обойти оба фланга нашего корпуса. Но видя препятствия эти собственными глазами, я и тогда находил их не столь крутыми, чтобы быть недоступными пехоте. Как бы то ни было, но фланги наши, примыкавшие к крутым отлогостям, оставались во все сражения без нападения. В этом сражении наш генерал-лейтенант Ланской был смертельно ранен и умер от раны, генерал-майор Ушаков убит, Юрковский ранен, Дм.<итрий> В.<асильевич> Васильчиков ранен — словом, все кавалерийские генералы (кроме Лар.<иона> Вас.<ильевича> Васильчикова) были убиты или ранены, и я, будучи полковником, несколько дней командовал 3-ю Гусарскою дивизиею. Мне прострелили пулями кивер и рукав ментика, картечью отбило сабельные ножны и прострелило глаз у лошади.

Я еще был тогда полковником, потому что генеральский чин за Ларотьер не вышел еще из-под пресса. Замечательно, что в сем деле около 10 тысяч конницы было послано в обход для нападения на правый фланг неприятеля, *полагая, что тем разобьют Наполеона*. Этой конницею командовал генерал Винценгероде, который, отошедши верст пять от поля сражения, остановился кормить лошадей и далее не пошел. Нашего брата за это засудили бы, но Винценгероде все с рук сходило.

Я также был под Фер-Шампенуазом, шел от Шалона в голову Блюхеровой армии, командуя гусарскою брига-

дою, составленную из Ахтырского и Белорусского полков. От частых битв в течение сей кампании моя состояла только в 900 всадниках, не более. Я семь раз атаковал колонну Пактода — и все безуспешно. Несколько раз наезжал на рогатки штыков, подставленных этой колонной, и все тщетно. Причина упрямства моего состояла не в том, чтобы я надеялся врезаться в середину этой огромной массы, ибо я в сравнении с нею много уступал ей в числительной силе, — но для того, чтобы не давать ей ходу до прибытия и артиллерии, и большего числа конницы мне на подмогу, что и случилось. Прибывшая конноартиллерия прояснив несколько ряды сей колонны, мы бросились на нее, с одной стороны конноегеря графа Павла Петровича Палена и Кинбурнский драгунский полк, а с другой моя бригада, и колонна легла под нашим лезвием. Вот, любезнейший Александр Иванович, все, что я могу сказать вам о сей кампании. Дай Бог в добрый час!

Вам нравится статья моя о морозе 1812-го года; я верю: вы русский душою. Я совсем непроч, чтобы ее перевели на французский, немецкий и английский языки и напечатали бы в чужих краях. Пора и нам заступаться за себя пером. Если бы я был в Петербурге, — то непременно нашел бы трех чужеземцев для перевода, но в Москве их нет, а в Симбирской губернии вряд ли когда и будут. А это дело отечественное. Я прибавил бы к этой статье и «Разбор трех статей, помещенных в Записках Наполеона», изданный лет пять тому назад, ныне пополненный новыми документами и проданный Смирдину. Теперь занимаюсь опровержением замечаний эрцгерцога Карла на Итальянскую кампанию Суворова и на переход им Альпов, — а между тем атакую Валтера Скотта за Кутузова, в истории Наполеона представленного как хотел Вильсон чтоб его представили. Вы видите, что я веду войну не с тощими и гнилыми журналистами, а людьми, достойными возражений. Будет ли успех или нет, Бог знает! По крайней мере, я исполняю долг русского солдата и в мирное время.

Итак, простите, любезнейший друг, — если будете в течение этого года в Пензе, уведоьте меня заранее — я постараюсь с вами повидаться.

Преданный вам Денис Давыдов.
8-го июня. — Москва. — 1838.

Вот уже два года, как Денис Давыдов жил в состоянии вынужденного бездействия.

Это было бездействие более в общественном смысле. Он был занят семьей, хозяйством, визитами, — но имя его исчезло из официальных реляций и со страниц печатных изданий. Он был более не генерал-майор Давыдов, начальник отдельного отряда на театре Персидской войны при экстраординарном поручении, — он состоял при Главной квартире, — и это было скрытой формой отставки.

По временам, когда в Москву приезжал бывший командующий Отдельным Кавказским корпусом, еще недавно главноуправляющий Грузией генерал от инфантерии в отставке Ермолов, двоюродный его брат, составлялся семейный круг ветеранов. Ермолов теперь жил постоянно в своем орловском имении, приводил в порядок библиотеку и обдумывал свои записки; круг его друзей сузился, да он и сам избегал прежних знакомых. «Беседу нашу оживляет Денис, — писал он А. А. Закревскому, общему их приятелю, — который однако же часто бывает болен и уже не так весел, как прежде. С прежними знакомыми вообще встречаюсь редко и с такою осторожностью, которою ты был бы доволен. Словом, на меня можно изобрести клевету, но, по справедливости, нельзя мне вредить»¹³.

Алексей Петрович Ермолов был в опале.

Газеты не находили слов для прославления преемника его Ивана Федоровича Паскевича, любимца императора; ему писались льстивые оды, на него сыпались ордена и знаки благоволения. Гром победных реляций сопровождал имя новоявленного графа Эриванского.

Старики уходили в отставку, в историческое небожие, в забвение.

Ермолову было пятьдесят лет, Давыдову — сорок четыре.

Им была предоставлена частная жизнь, имение, контракты, землепашество, псовая охота — и воспоминания.

В августе 1828 года Давыдов сообщал Закревскому, что в свободные минуты пишет «записки, воспоминания и анекдоты»¹⁴. И здесь он не менее Ермолова имел нужду в осторожности, потому что вспоминал он то, что настоятельно рекомендовалось забыть.

В одной из своих поздних статей Давыдов рассказал,

что произошло за два года до описываемых событий. Статья эта — «Воспоминания о польской войне 1831 года» — была напечатана через много лет после его смерти и смерти императора Николая, а потом вошла во второй том собрания его сочинений, изданного в 1893 году. Давыдов описал в ней обстоятельства удаления Ермолова, не удаления даже — изгнания «с бесчестьем», — и изгнание это, говорит он, «есть ничем неизгладимое пятно на памяти времени, в которое постоянно выдвигаются лишь ничтожные, корыстолюбивые, бездарные и невежественные льстецы».

Пушкин говорил, что хотел бы написать историю Александра I пером Курбского. Так Давыдов писал историю николаевского времени. История эта была им пережита и перечувствована, и он был не летописцем, а мемуаристом, любящим и ненавидящим, не скрывавшим своих пристрастий. Недаром он любил Тацита, у которого брал жар и энергию его исторических обличений.

Он помнил, как приехал в сентябре 1826 года на театр Персидской войны с «экстраординарным» поручением нового царя, оставив беременную жену и расстроенное имение. Но Николай I возвращал его на службу, о чем он мечтал несколько лет, и он не мог отказаться. Уже при отъезде ему было известно, что в нескольких сутках пути впереди него едет Паскевич, назначаемый, как и он, в помощь и подчинение Ермолову, и он подозревал уже, что при дворе на Ермолова «поднялась буря», — но он не знал, что Паскевич везет с собой тайный приказ сместить Ермолова в случае «беспорядков». Приехав на место, Давыдов сразу же был отправлен с отдельным отрядом сражаться против войск Гассан-хана и строить крепость Джелал-оглу, и до него доходили лишь косвенные и темные слухи о начавшейся «войне генералов». Теперь он знал о ней больше, — от очевидцев и от Ермолова, и все, что слышал и знал, изливал на бумагу раскаленным пером историка и памфлетиста.

«Ермолов, называемый в Петербурге проконсулом Грузии, никогда не пользовался благоволением государя императора Николая Павловича, почитавшего его человеком опасным, по своему либеральному образу мыслей. Он возымел о нем это мнение с самого 1815 года...».

Давыдов рассказывал, как при вступлении русских войск в Париж, покойный император Александр I велел

арестовать трех штаб-офицеров за какие-то служебные упущения. Ермолов не выполнил приказа. Он сказал Николаю Павловичу, тогда великому князю: «Я имел несчастье подвергнуться гневу его величества. Государь властен посадить нас в крепость, сослать в Сибирь, но он не должен ронять храбрую армию в глазах чужеземцев. Гренадеры прибыли сюда не для парадов, но для спасения отечества и Европы».

Так начинался, считал Давыдов, давний, упорный, скрытый до поры до времени конфликт выученика суворовской школы с наследниками гатчинских экзерциций-мейстеров. Всю жизнь сам Давыдов противопоставлял «фронт» «фрунту», — последний окончательно победил в царствование Николая.

«Великий князь Николай Павлович сказал однажды покойному императору, что этот самостоятельный и энергичный начальник на границе государства весьма неблагонадежен...».

Он рассказывал далее, что после 14 декабря в Петербурге возникли опасения, что Ермолов откажется присягать; что он спешит к столице с преданными ему войсками... «Враги Ермолова, ненавидевшие его за его острый язык, бескорыстие и безграничную преданность к нему войска, окончательно восстановили против него государя. Его величество стал его почитать опасным либералом, безбожником, бесчеловечным и горьким пьяницей, хотя многим известно, что он всегда был весьма воздержан в употреблении вина...».

Прибывшему, наконец, с присяжным листом фельдъегерю задавали вопросы о подробностях присяги Ермолова. Тот сказал: «Алексей Петрович так боготворим в Грузии, что если бы он велел присягнуть персидскому шаху, все бы тотчас это сделали». «В награду за это изречение он совершил путешествие в Якутск».

Давыдов знал, конечно, больше, чем рассказывал. Он не мог не знать, что недоверие Николая I к Ермолову имело более серьезные основания; что промедление с присягой было, конечно, умышленным, а не случайным; что в корпусе Ермолова находились люди, замешанные в «деле 14 декабря»... Ермолов встречал ссыльных с демонстративной ласковостью: так он разговаривал с М. И. Пушиным. Да и сам Давыдов проявлял к ним почтенное внимание, которое испытывал на себе, в частности, А. С. Гангеблов, вспоминая об этом в своих мемуарах...

Он не знал, вероятно, только того, что декабристы всерьез рассчитывали на помощь Ермолова в случае успеха выступления.

Но и того, что рассказывал Давыдов, было достаточно

Он вспоминал, как совершилось отрешение «проконсула Иверии», как «ожесточенная злоба и низкая зависть» взводили на него небывалую клевету; как распространялись слухи, что Ермолова вскоре привезут в Петербург «связанного и скованного»...¹⁵.

В марте 1827 года, вернувшись полубольным из недолгого отпуска, он видел опустевший ермоловский дом, некогда наполненный людьми, искавшими его покровительства. «Дом, в котором умер хозяин», — говорил Н. Н. Муравьев, один из немногих, кто не отвернулся от прежнего всеильного властителя Грузии.

Его просили не прощаться с войсками во избежание шума. Не желая «злополучия многих», он «выехал из Тифлиса в три часа пополудни», предварительно уничтожив «много любопытных и драгоценных бумаг и писем». Давыдов провожал его.

А затем Давыдов явился к месту службы и узнал, что ему предложено состоять при главной квартире и что отряд его передан уже генералу Панкратеву. С простым генерал-майором можно было не церемониться. Николай I сказал потом Якову де Санглену: что-де ты веришь Давыдову, которого Паскевич выгнал из армии.

Обо всем этом вспоминал Давыдов, — а может быть, и о многом другом, нам неизвестном.

В письмах своих Давыдов писал о покое, уединении, семейственном счастье, которыми он пользуется, но здесь была только часть правды.

Он действительно посвящал домашним заботам немного времени, — но дома ему не сиделось: он уезжал то в Москву, то с Вяземским в Пензу. Летом 1829 года они вместе отправились на ярмарку, и пензенское общество было взволновано визитом столичных знаменитостей. «Нашу Пензу осясали своими приездом две достопримечательные особы, это есть: *Денис Васильевич Давыдов, генерал-майор, герой-партизан-поэт*, и поэт князь *Петр Андреевич Вяземский!* Я был счастлив; каждый день на ярмарке я их видел по два раза в день,

слышал их разговор, и вы можете себе представить, в каком я был восторге! — Как мне приятно было мыслить: я видел *Давыдова* и — *Вяземского!* Ярмарка уже кончилась, и они, надо думать, скоро уедут. Они приезжали только лишь на ярмарку; но до отъезда их я еще надеюсь их увидеть...»¹⁶.

Письмо от четвертого июля 1829 года, написанное молодым любителем литературы А. Иванисовым; адресат — приятель его, бывший пензенский гимназист, ныне в Москве готовящийся к поступлению в университет Виссарион Григорьевич Белинский...

В Пензе — отвлечения, развлечения, красавицы, к которым Давыдов равнодушен и в одну из них вскоре влюбится. Все-таки по натуре он был оптимистом, да и старость его еще не пришла.

Тем временем новый удар постигает его.

Шестнадцатого сентября умер Николай Николаевич Раевский-старший.

Давыдов с Раевским были в родстве — и довольно близком по тогдашним понятиям, — но связи их были более чем родственные. Три человека были для Давыдова образцами, покровителями, кумирами: Багратион, Раевский, Ермолов.

Раевский — это была Каменка 1809—1811 годов, двоюродный брат Василий Львович Давыдов, очаровательная Аглая — жена другого кузена, дядюшка Александр Николаевич Самойлов, — весь этот светлый, полный увлечений и надежд быт накануне великой войны, в который погрузился тогда с головой двадцатипятилетний адъютант Багратиона Денис Давыдов; это были и героические месяцы сражений в Молдавии и Валахии, и снова Киев, Каменка, Тульчин... Тогда он научился различать подлинные и мнимые человеческие ценности и отдавать первым из них предпочтение перед воинскими рангами. А затем была война двенадцатого года, превратившая имя Раевского в легенду; по окончании же ее судьба скрепила нескольких его друзей и знакомцев родственными узами: М. Ф. Орлов, старший его приятель, женился на старшей дочери Раевского Екатерине; младшая же вышла замуж за Сергея Волконского. После четырнадцатого декабря рухнул весь этот мир, — и (кто знает?) может быть, тяжелее всех пришлось старику Раевскому: один зять ушел на каторгу; другой, заступничеством брата избежавший рудников, должен был жить затворником в своем имении; любимая дочь, вос-

став против воли родителей, уехала за мужем в Сибирь, а через год на руках у стариков умер внук — маленький ребенок Волконских. Оба сына побывали под арестом, — и хотя были оправданы, подозрение тяготело на них.

Раевский нес свой крест, не ропща и не жалуясь, с тем стоическим терпением, которое дается только людям глубокого ума, и то после долгих лет испытаний и размышлений. Он давно простил дочь, оплакав ее «кровавыми слезами», как говорил сам; более того, он оправдал ее. «...Она в несчастии, какого в мире жесточе найти мудрено, мудрено и выдумать даже». О своем несчастии, своем страдании он не думал. Узнав об отставке Ермолова, он сказал: «...не могу не жалеть о нем. Он не великодушен, поэтому будет несчастлив; привыкши быть видным человеком, ничтожность его будет ему мучительна»¹⁷.

За свое великодушие он заплатил истощением жизненных сил.

Этому старику, когда он скончался, было пятьдесят восемь лет от роду.

Михаил Орлов, заключенный в своем Милятине, писал «некрологию» тестю.

Он рассказывал о воинских подвигах человека, которому судьба определила «нанести Наполеону первый и последний удар». При Смоленске он выдерживает натиск неприятеля, вдесятеро сильнеешего; неизвестно, как повернулись бы события далее, если бы не принял на себя удар и не остановил движение наполеоновской армии, пока не подоспели силы Багратиона. На Бородинском поле центральный редут сохранил в истории имя Раевского. Под Лейпцигом его тяжело ранило; поэт Батюшков, его адъютант, поддержал его, пошатнувшегося на лошади; «Раевский положил на рану левую руку и, показывая ее обогрешенную кровью, сказал с улыбкою сии два известные стиха:

Je n'ai plus de sang qni m'a donné la vie;

Ce sang s'est épuise, versé pour la patrie...».

Во мне нет больше крови, которая давала мне жизнь;
Эта кровь иссякла, она пролита за отчизну...

«Он остался на лошади, — продолжал Орлов, — и командовал корпусом до окончания сражения, хотя рана была жестокая и кость раздроблена..»¹⁸.

Орлов питал тайное пристрастие к поэтическим легендам. Все было проще, будничнее и героичнее.

«При конце дня генерал сказал мне: «я ранен, я ранен!» и с этим словом наклонился на лошадь. Я осмотрел грудь и ужаснулся, увидя кровь. <...> Я поскакал за лекарем. В ближней деревне его перевязали и нашли — чудное дело! что пуля, ударом пробив шинель на клеенке и мундир, не могла пронзить фуфайки на вате. Не менее того, рана глубока, и кровь беспрепятственно струилась. Мы возвратились на квартиру и отдохнули. 5-го числа, вопреки советам доктора, генерал сел на коня и поехал на батареи...»¹⁹.

Так рассказывал Батюшков в письме Гнедичу от 30 октября, менее чем через месяц после событий.

Раевский, вероятно, улыбнулся бы, если бы мог прочитать патетическое описание Орлова. Он не любил патетики и добродушно посмеивался, слыша рассказ о том, как он якобы бросился в битву, держа за руки двух мальчиков-сыновей.

Некрология Орлова была напечатана анонимно — иначе было нельзя — и разослана подписчикам «Русского инвалида» 15 декабря 1829 года. Тогда ее и прочитал Давыдов, не зная еще, кто ее автор.

Тогда же явилась у него мысль возразить неизвестному сочинителю.

Быть может, зерном «Замечаний на некрологию Н. Н. Раевского» была маленькая — анонимная же — заметка, принадлежавшая Пушкину и напечатанная в первом номере новой «Литературной газеты», которую стал издавать в Петербурге Дельвиг с первого января 1830 года. Пушкин писал здесь: «Сие сжатое обозрение, писанное, как нам кажется, человеком, сведущим в военном деле, отличается благородною теплотою слога и чувств. Желательно, чтобы то же перо описало страннее подвиги и приватную жизнь героя и добродетельного человека»²⁰.

«Герой» и «добродетельный человек». Это был замысел, унаследованный от литературы и этики декабристов. В ней герой не мог не быть добродетелем, — иначе он лишился звания героя. Декабристские поэты предпочитали гражданское мужество воинским подвигам. Цезарь был для них тираном; Брут и Кассий — героями. И в поисках примеров подлинной доблести они постоянно обращались к писателям древнего Рима; быть может, чаще других — к Тациту.

Денис Давыдов обратился к Тациту.

По-видимому, в феврале 1830 года он заезжает к известному журналисту, Ксенофону Полевому, брату издателя «Московского телеграфа» с просьбой перевести для него отрывок из «Жизни Агриколы» Тацита. Полевой отвечал, что недостаточно изучил язык Тацита, чтобы решиться на такой перевод. «Я перевел сам, да с французского!» — сказал Давыдов. Тут он прочел Полевому отрывок. «Выслушавши его, — вспоминал Полевой, — я искренно выразил ему свое мнение, что если бы сам Тацит перевел этот отрывок на русский язык, то перевод не был бы лучше»²¹.

Эта страница из Тацита вошла в «Замечания на некрологию Раевского».

За ней начиналась неясная область намеков и уподоблений. Доблесть Агриколы, его полководческий талант, храбрость и человеческую скромность Тацит противопоставлял трусости, жестокости и лицемерию императора Домициана. Быть может, Давыдов и не собирался проводить прямые параллели с императором Николаем, — но он явно метил в его окружение. Что же касается самого Раевского, то под пером Давыдова он превращался в своего рода символ.

«Неужели военное звание, впрочем, столь почтенное и благородное, до того превышает звание добродетельного человека, что говоря о первом, можно пренебречь последним?»

Этот упрек Орлову был бы понятен в устах Пушкина, — но в устах певца биваков, партизана, военного историка и писателя, прошедшего десятки сражений, он звучит странно. Но Давыдов с демонстративной настойчивостью сосредоточивает свое внимание на личных, казалось бы, частных чертах знаменитого полководца. Он ищет и находит в нем добродетели гражданина, подобные тем, какие были у древних: сочетание сильного характера с чувствительностью, пронизательного ума с «кротостью неподдельною, естественною», снисходительности к другим со строгостью к себе. В Раевском воскресал для Давыдова образ «Агриколы, или Эпаминонда, или Сципиона, столь сродных с ним простотою нравов и кротостью душевной». «Он совсем не принадлежал к нашей эпохе, исключительно коснеющей в тесной, себялюбивой расчетливости и дерзающей осмеивать сатанинским хохотом все то, что выше ее смрадных предел!»

Здесь перед нами начинает раскрываться замысел статьи. Подобный же приговор своему настоящему Давыдов произносил в тайных записках о Ермолове.

После каждой войны, продолжал биограф, оставив память нового геройского подвига, Раевский скрывался в сельском убежище среди своего семейства, откуда при первом же зове отечества являлся на битву с тем же спокойствием духа, с каким садился за семейную трапезу, — и вновь со скромностью философа «возвращался в сельское свое убежище, к своей семье, своим цветам и огородам, с тою же ясною душою, не омраченною тщеславием...»

Этот художественный образ. Он не противоречит действительности, — нет, все, что пишет Давыдов, истинная правда, — но он расширяет ее, обогащая внутренними смыслами. В этом образе есть и римский Цинциннат, и Ермолов, проводящий годы в вынужденной праздности на Орловщине, и сам Давыдов, представлявший себя в облике воина, возделывающего свое поле. В биографе и историке не умирает художник и поэт; он набрасывает свои портреты мазками, отбирая нужные черты.

А потом Давыдов начинает говорить голосом оратора и публициста, — и что говорить!

«Наконец, когда Раевский прошел сквозь весь пыл долголетней вражды государств и народов, пожравшей целые поколения, сквозь преграды, ковы и гонения, воздвигаемые явною и тайною злобою всякому человеку с чистой совестью, — другой род славы ожидал его: борьба с самою судьбою <...> Неожиданная гроза разразилась над главою поседевшей, но еще не остывшей от вдохновений воинственных и еще курившейся дымом сражений... Раевский был поражен во всем милом, во всем драгоценном для его сердца, созданного любить без меры все то, что однажды оно полюбило.»

Мы знаем теперь, о чем идет речь; знали и современники. Ни для кого не было секретом, отчего потряслось и уничтожилось мирное семейное убежище героя. Но мало кто решился бы на этот намек.

«Мы видали мужей твердых в опасностях, — продолжал Давыдов, — видали самого Раевского в весьма критических обстоятельствах; он никогда, нигде и ни от чего не изменялся, — но тут он превзошел наше ожидание, или лучше, самого себя! Новый Лаокоон, обвитый, теснимый змеями, он не докучал воплями небу, не унижал себя мольбами о сострадании. Ни единого ропота, ни

единого злобного слова не вырвалось из уст его, ни единым вздохом, ни единым стенанием не порадовал он честолюбивую посредственность, всегда готовую наслаждаться страданиями человека, далеко превосходящего ее своими достоинствами. Испытание ужасное! Несколько лет продолжалось оно неослабно, и нам можно было судить только по ослабевавшему его здоровью, изменявшимся взору и физиономии, омраченным уже глубокою тоской и неотразимою горестью. С тем же безмолвием о своих страданиях душевных, тогда сопряженных уже с недугами телесными, он благословил семейство свое — увы! неполное — и скончался, как справедливо говорит некролог его, не оставя ни единого человека, который имел бы право восставать против его памяти»²².

Жаль, что никто еще не написал труда об отношении прозы Давыдова к традиции античного красноречия. Пусть читатель не посетует на длинную выписку, — он читает на русском языке совершенный образец ораторского искусства.

В него можно подставлять имена Сергея и Марии Волконской и автора некрологии — Михаила Орлова.

Когда Давыдов показал этот текст — с неслыханной беспечностью! — Якову де Санглену, в свое время бывшему начальником тайной полиции, тот сказал, что печатать его нельзя по либеральному его духу, и стал по старой привычке следить за автором.

2 января 1831 года Пушкин писал Вяземскому: «Денис здесь. Он написал красноречивый Éloge Раевского. Мы советуем написать ему Жизнь его»²³.

«Замечания» вышли в Москве отдельной книжкой в 1832 году — и быть может, самым странным парадоксом было появление ее в печати.

Д. В. Давыдов — В. А. Жуковскому
20 ноября 1829 г.

Из села Мазы в Петербург.

«...Я напоминаю тебе о Денисе Давыдове и посылаю несколько стихов, вырвавшихся из-под пера моего в оставшиеся минуты моих забот семейственных и прозаических занятий. Взгляни на сии стихи, исправь их и пришли ко мне исправленные, как ты делывал в старину с моими поэтическими и прозаическими вздорами...»²⁴.

В. А. Жуковский — Д. В. Давыдову
10 декабря 1829 г.
Из Петербурга в село Мазу.

Давыдов, пламенный боец, благодарю тебя за твои поэтические и прозаические строки. Очень было мне весело получить от тебя теперь весточку <...> Ты шутишь, требуя, чтобы я поправил стихи твои. Все равно когда бы ты сказал мне: поправь (по правилам малярного искусства) улыбку младенца, луч дня на волнах ручья, свет заходящего солнца на высоте утеса и пр. и пр. Нет, голубчик, не проведешь. Я и не поправлю, и не возвращу тебе стихов твоих. Не отдать ли их в «Северные цветы», то есть три первых; эпитафии не пропустят»²⁵.

Все комментаторы этого письма, давно известного, считают, что Жуковский говорит о старой шуточной эпитафии, написанной живому князю Мосальскому, за худобу свою прозванному «князь-мощи»:

Под камнем сим лежит Мосальский тощий;
Он весь был в немощи, теперь попал он в мощи.

Об этой эпитафии Вяземский упоминал еще в 1822 году. Между тем Давыдов посылал Жуковскому новые стихи. Да вряд ли он и собирался печатать эту шутку; помимо всего прочего, он и сам знал, что ее «не пропустят», потому что адресат ее был отлично известен. Нет, конечно, не о ней шла речь.

В сборнике стихотворений Дениса Давыдова, вышедшем в 1832 году одновременно с «Замечаниями на некрологию...», есть маленькое четверостишие, озаглавленное «На смерть N. N.»:

Гонители, он — ваш! Вам плески и хвала!
Терзайте клеветой его дела земные,
Но не сорвать венка вам с славного чела,
Но не стереть с груди вам раны боевые!

Эти стихи считают обычно посвященными Ермолову. О «гонителях» его нельзя было говорить публично, — и потому Давыдов скрыл его имя и назвал эпитафией апологию живого человека.

Но если это действительно было так, то для кого же Давыдов писал свои стихи? Кто мог бы догадаться, что «смерть» в заглавии существует лишь для отвода глаз цензуре? Адресат становился неузнаваемым, и обличе-

ния его гонителей начинали походить на холостой выстрел в воздух.

Не проще ли, не естественнее ли поверить, что перед нами в самом деле эпитафия, в которой только имя адресата зашифровано инициалами, а все остальное служит тому, чтобы это имя было угадано безошибочно? И чтобы читатель мог назвать поименно и «гонителей» героя?

«Эпитафии не пропустят...». Почти нет сомнения, что Жуковский говорил именно об этих стихах, написанных не позже ноября месяца 1829 года. Он догадался сразу — «N. N.» был Николай Николаевич Раевский, со времени смерти которого прошло только два месяца.

То, о чем писал Давыдов в своих замечаниях на некрологию, звучало в маленьком четверостишии, — и в нем были те мысли и даже слова, которые поражают нас в шедевре, созданном другим поэтом восемью годами позже:

Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело...

Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд...

Стихи Лермонтова и Дениса Давыдова черпали из общего источника, — из послания Жуковского к Вяземскому и В. Л. Пушкину, с воспоминаниями о последних днях драматурга В. А. Озерова:

Пусть Дружба нежными перстами
Из лавров ей венец свила —
В них Зависть терния вплела;
И торжествует, растерзала
Их иглы славное чело...

Подхваченные поэтические формулы наполнялись новым содержанием, — теперь они несли в себе прямо общественный смысл. С этим смыслом они попали и в «Смерть поэта».

Быть может, и сам Лермонтов не знал, что он получал эстафету из рук Давыдова.

А может быть, ему были известны эти стихи? Еще в 1830 году Давыдова переполняли воспоминания о Раевском; он говорил о своей статье с Ксенофонтом Полевым; он читал ее Пушкину. Да что Пушкину! Он едва не погубил ее и себя самого, показав рукопись профес-

сиональному шпиону Якову де Санглену. Быть может, слухи о его занятиях не миновали и племянника его по жене, Николая Поливанова, по соседству с которым жил на Молчановке ближайший его приятель, студент Московского университета Михаил Лермонтов? А может быть, в январе того же 1830 года судьба свела их в Саратове, на свадьбе знакомого Давыдова и дяди Лермонтова Афанасия Алексеевича Столыпина, и Лермонтов что-то услышал сам из уст знаменитого поэта?

Впрочем, не будем гадать. Встреча поэтических идей не всегда предполагает встречу поэтов. Об этом, собственно и пойдет речь в нашем заключительном рассказе.

«Невольный пахарь»

В числе стихов, посланных Жуковскому Давыдовым, была элегия «Бородинское поле».

Десять лет назад Давыдов написал элегию-идиллию о блаженстве земледельца, возделывающего наследственную ниву:

Погибните навек, мечты предрассуждений,
И ты, причина заблуждений,
Чад упоительный и славы, и побед!
В уединении спокойный домосед
И мирный селянин, не постыжусь порою
Поднять смиренный плуг солдатскою рукою...

Восемнадцать столетий с лишком существовал этот поэтический мотив; его ввел в мировую литературу бессмертный Гораций.

Когда Давыдов писал свою идиллию, перед его мысленным взором вырастали картины мирного труда и семейственного счастья. Оно пришло — но успокоения не дало.

В марте 1824 года он писал А. И. Якубовичу, кавказскому герою, будущему декабристу:

«...Прослужа дурно ли, хорошо ли, но сплошь двадцать два года, из коих восемь сряду в непрерывных войнах, тяжело было снести то равнодушие, с каким оттолкнули меня в толпу хлебопашцев...».

И вновь, ему же, через год:

«...Будучи давно мирным хлебопашцем, я привык к забвению, но теперь чье внимание проникло в мое уединение? Героя, который уже третий год питает мою душу своими богатырскими и великодушными деяниями,

несущими на себе отпечаток чего-то гомерического, веющими запахом времен поэтических, ныне столь плоских и прозаических <...> Я в молодых годах испытал участь несколько сходную с вашей, но менее счастливую; я нашел в ссылке не битвы, а разводы и манежи»²⁶.

Эпоха, пришедшая потом, отодвинула «гомерические времена» еще далее. Еще Раевский, подобно полководцам Древнего Рима, мог менять меч на плуг, а затем плуг на меч, — ныне все изменилось. Вокруг него не было уже и тех, кому он жаловался в письмах 1824—1825 годов: Якубович томился на каторге, а двенадцатый год был официально не в моде. Прежний император не раз давал понять, что воспоминания эти сейчас не ко времени, новый был к ним скорее равнодушен. В тридцатые годы нахлынет новая волна интереса, но уже исторического, как к эпохе ушедшей; сейчас же, на исходе второго десятилетия века, голос современника событий, пятнадцать лет назад всколыхнувших всю Россию и весь европейский мир, звучал словно из глубины столетий. Теперь нам может казаться это странным, — но в 1837 году, когда Лермонтов напишет свое «Бородино», ощущение исторической дистанции у него будет меньшим, чем в 1829 году у Дениса Давыдова. «Дядя», старый служивый, да и молоденький слушатель его — герои «Бородин» Лермонтова, будут переживать события прошлого почти как настоящее; лирический герой давыдовского «Бородинского поля» переживает свое настоящее как далекое прошлое. И вовсе не случайно Лермонтов назвал свои стихи «Бородино», Давыдов — «Бородинское поле»: «поле» — это пашня, которую возделывает ветеран; Бородинское поле — молчаливое хранилище исторических воспоминаний, и кладбище, скрывшее останки тех, кто был некогда жив и любим. Для самого Давыдова все это имело и особый интимный, сокровенный смысл: лишь немногие из его читателей знали, — да и не нужно было им этого знать, — что знаменитое Бородино было родовым имением семейства Давыдовых, местом, с детства знакомым поэту. Но в самом стихотворении на это нет и намека; смысл его шире и обобщеннее. «Душа моя — элизиум теней», — скажет позднее Тютчев, — эта же мысль присутствует и у Давыдова. Его стихи — стихи о забвении, распротранившемся равно на мертвых и на живых.

Лермонтов в «Бородине» писал о двух поколениях —

прежнем и нынешнем. Давыдов пишет более всего о себе. Лермонтов смотрит как бы извне; Давыдов изнутри. «Бородино» — эпос; «Бородинское поле» — элегия.

Но оба произведения роднит одна мысль, отлившаяся у Лермонтова в поэтическую формулу: «Да, были люди в наше время: Не то, что нынешнее племя, Богатыри — не вы!»

У Давыдова было то горькое преимущество перед своим младшим современником, что он коротко знал ушедших «богатырей» и — «нынешнее племя».

Он послал свои стихи Жуковскому в надежде на критику и исправления, — но, как мы видели, не получил ни того, ни другого.

По-видимому, тогда же он отправил их Вяземскому.

Так сложилось издавна: его стихи, только что написанные, поступали на взыскательный суд товарищей-поэтов, и он не только не сердился на критику, но настойчиво требовал ее и сам придирчиво оценивал каждое слово, каждую строчку. Он радовался, когда находил нового, младшего судью своих стихов; так, он с благодарностью и восхищением прислушивался к мнению Баратынского, а позднее — Языкова.

Баратынскому он тоже отдал рукопись.

Среди бумаг Остафьевского архива Вяземских в РГАЛИ сохранился один из разосланных им экземпляров. Давыдов собственноручно переписал текст, ровным, красивым почерком, столь непохожим на нервные, неразборчивые строки его черновика. Мы прочтем его.

ЭЛЕГИЯ. БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ

Умолкшие холмы, дол, некогда кровавый,
О, возвратите мне ваш день, день вечной славы,
И шум оружия, и сечи, и борьбу!
Увы! Мой выпал меч из рук — мою судьбу
Попрали сильные! Счастливы горделивы
Влекут оратаем меня на луг и нивы...
Стыжусь! — О, рынь меня, рынь на бессмертный бой,
Вождь гомерический, Аякс, Ахилл душой,
Ты, возбуждающий в полках восторг и клики,
Одеян гибелью, Багратион великий!
Прости мне длань твою, Раевский, мой герой!
Ермолов, я лечу в пыл битвы за тобой,
Ты, обреченный быть побед любимым сыном,
Покрой, покрой меня твоих перунов дымом!
Но где вы?.. внемлю вам... нет отзвья! — с полей
Умчался брани дым, не слышен стук мечей,
И я, питомец их, склоняюсь главой у плуга,
Завидую костям соратника иль друга!²⁷

Да, это она, — одна из лучших элегий русского XIX века. Мы узнаем — и в то же время не узнаем ее. Лишь несколько строк ее — но лучших — остались неизменными в том ее тексте, который мы знаем сейчас как элегию «Бородинское поле».

Остались первая и третья строка и строка четвертая, о которой пойдет речь особо. И осталась концовка. Образ, сложившийся уже в письме Якубовичу — «воин-хлебопашец». Центральный образ элегии, с внутренним контрастом прошлого и настоящего.

Все остальное изменилось — то больше, то меньше, потому что три поэта пытались довести элегию до совершенства.

Более других поработал над ней Баратынский.

Мы знаем об этом потому, что в бумагах Вяземского в упомянутом уже нами Остафьевском архиве сохранился еще один автограф, посланный Давыдовым Жуковскому, где отмечено то, что вписал Баратынский. Давыдов подчеркнул стихи «его фабрики», как говорил в сопроводительной заметке. Почти все они находятся в первых десяти строках:

*Умолкшие холмы, дол, некогда кровавый,
Отдайте мне ваш день — день вековечной славы,
И шум оружия, и сечи, и борьбу!
Мой меч из рук моих упал — мою судьбу
Попрали сильные! Счастливы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы.
О, ринь меня на бой, ты, опытный в боях,
Ты, голосом своим рождающий в полках
Погибели врагов предчувственные клики,
Вождь Гомерический, Багратион великий!*

Последнее исправление касалось пятнадцатой строки:

Но где вы?.. слушаю... нет отзыва! с полей...

Давыдов послал эти исправления Жуковскому, как верховному решителю поэтических судеб, с чьим мнением должно считаться безусловно. Он верил Жуковскому больше, чем самому себе.

Сам он, однако удовлетворен не был. В письме Жуковскому от 27 декабря 1829 года он жаловался: Баратынский «на скребок своим, кажется унес первобытную силу и огонь этой поэтической вспышки».

Начинался молчаливый дружеский спор о поэзии. Давыдов готов был жертвовать благозвучием и точ-

ностью во имя энергии и живописности, и потому протестовал против рассудочного, как ему казалось, «скребка». В его строках теснились грандиозные, гиперболические образы: Гомер, Аякс, Ахилл; в стихе скапливались ударения на коротких односложных словах:

*...мне ваш день — день вечной...
Увы! мой выпал меч из рук...*

Даже вторая собственная строчка казалась ему недостаточно энергичной; он переделывает ее:

Пыл, дым, громады войск, и сечу, и борьбу!

Баратынский был выученик классиков; он экономил поэтические средства. Он владел пушкинским искусством емкого слова, заменяющего многие и не мешающего плавному течению стихов. Поправляя стихи Давыдова, он был осторожен; он прекрасно понимал, что прикасается к большой поэзии, и лишь освобождал строку от «пятен грязи», как говорил сам Давыдов, бережно сохраняя и мысль, и давыдовские слова:

*Отдайте мне ваш день — день вековечной славы...
Мой меч из рук моих упал — мою судьбу...*

Дыхание стало свободней, скопления ударений рассеялись, и сильный логический акцент лег на слово «упал».

Он убрал «Аякса» и «Ахилла» и оставил только упоминание об эпических гомеровских сражениях.

Он предлагал игру словесных оттенков и пересечения поэтических смыслов: «ринь меня на бой, ибо ты опытен в боях», — намеренное, выверенное повторение слова; голос полководца подхвачен многотысячным голосом войска.

Давыдов был блестяще талантливым поэтом; Баратынский — великим. Но он нигде не пытался подменить искусство Давыдова своим.

И он отыскал Давыдову «давыдовский» образ. Но для того, чтобы оценить его по достоинству, отвлекемся на время от его замечаний и обратимся к замечаниям Вяземского.

Их было два. Одно касалось слова «влекут» в шестой строке: «*Влекут* никак нельзя; влечет только тот, кто сам впереди и тащит за собою. Кто *толкает*, тот не *влечет* и вовсе не *привлекателен*».

Неисправимый составитель каламбуров тоже пекся о точности слова.

Второе замечание — к словам «попрали сильные» было другого рода:

«Хорошо для рукописного, а для печатного не годится, а то и стих попрут *сильные цензоры*».

Вяземский безошибочно ощущал общественный подтекст. Он был тем же самым, что в эпитафии Раевскому. «Сильные», «счастливы горделивы», — все это было для него совершенно прозрачно. Так писал еще Батюшков, любимый поэт и Вяземского и Давыдова, в «Моих пенатах», ставших уже классикой:

Развратные счастливы,
Придворные друзья
И бледны горделивы,
Надутые князья.

И нечто подобное писал он сам.

Подобно Давыдову и в то же самое время — в конце 1829 года — он послал Пушкину для чтения и исправления свою собственную элегию «К ним». «Они» — это были его, Вяземского, гонители. Стихи читали Жуковский и Баратынский. Они шли по тому же кругу, что и стихи Давыдова, и в них была похожая строчка:

Счастливы! Вы и я, мы служим двум фортунам...

Общими оказывались творческие истории, друзья, противники, мысли и слова. Пушкин испестрил элегию Вяземского своими замечаниями, — Баратынский присоединил свои.

«Ради Христа, очисти эти стихи — они стоят «Уныния», — писал Пушкин. «Уныние» Вяземского он особенно любил.

«Ради Бога, переправьте ее: она высокого лирического достоинства», — вторил Пушкину Баратынский.

Вяземский переправил. Пушкин напечатал «К ним» в пятом номере «Литературной газеты» от 21 января. Он сделал это, несмотря на возражения Жуковского, который боялся за судьбу Вяземского, — сделал, потому что «невтерпеж приходится благородному человеку»²⁸.

Строчка Вяземского перекликалась с центральными строками «Бородинского поля»:

...Мою судьбу
Попрали сильные! Счастливы горделивы
Влекут оратаем меня на луг и нивы...

Едва ли не самое важное место элегии, оно требовало особой точности, — и вместе с тем именно к нему относились оба замечания Вяземского. Нужно было убрать «сильных» — из опасений цензурного свойства — и изменить «влекут». Давыдов попытался сделать это:

...Мою судьбу
Попрали в прах — и я, сын брани горделивый,
Смирным пахарем сослал себя на нивы.

В первой публикации он остановился на варианте:

Попрали наконец счастливы горделивы
И пахарем меня влекут на мирны нивы.

Баратынский предлагал:

...Мою судьбу
Попрали сильные! Счастливы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы.

«Невольным пахарем...» Да, это было то самое точное слово, которое рождалось у Давыдова еще в письмах двадцатых годов. Не «смирным», как собирался он поставить; не «оратаем» «мирных нив», — все это годилось бы для старой элегии-идиллии. «Невольный пахарь» — лаконическая формула, двуединая по природе, с внутренним конфликтом, сочетание несочетаемого, «воин-землепашец».

И без «сильных» обойтись было нельзя, — как бы ни грозило это столкновением с «сильными цензорами».

Давыдов окончательно понял это, когда вновь вернулся к этому стихотворению, готовя его для сборника 1832 года. Он принял все поправки, предложенные Баратынским, — все до единой.

Но это произошло позже, — сейчас, в конце 1829 года, он еще пытался вернуть стихотворению, как ему казалось, утраченный «огонь».

«Впрочем, все тебе отдаю на суд, — писал он Жуковскому в известном нам уже письме, — ты архипастыр наш, président de la chambre du conseil (председатель суда); что определишь, то и будет, а я спорить и прекословить не буду. Когда уладишь, то, не извещая меня, позволяю тебе отдать Дельвигу «Бородинское поле...»²⁹.

Невтерпеж приходилось благородному человеку.

«Бородинское поле» появилось в «Литературной газете» тремя неделями позже элегической выходки Вяземского, 15 февраля.

Жуковский ничего не поправил — он благословил напечатание.

...Перед нами лежит маленькое стихотворение, до наших дней не потерявшее своего поэтического аромата. Оно «давыдовское» от начала до конца: по мысли, по гражданскому пафосу, по силе утверждения и отрицания, по красоте и энергии стиха. Но мало кто знает, что в нем заключена частица творческого духа нескольких лучших поэтов пушкинской поры.

Впервые: «Три рукописи Публичной библиотеки» — Литературная газета. 1984. № 30. 25 июля; «Старые гусары», «Последнее дело партизана Давыдова», «Эпитафия», «Невольный пахарь» — Звезда. 1984. № 7.

¹ РНБ, ф. 286, оп. 1, № 80, л. 1. Публикация: Бычков И. А. Бумаги В. А. Жуковского, поступившие в имп. Публичную библиотеку в 1884 году. СПб., 1887. С. 158. Текстологический анализ всех материалов дан нами в издании: Давыдов Денис. Стихотворения/Библиотека поэта: Большая серия/Вступ. статья, сост., подгот. текста и прим. В. Э. Вацура//Л., 1984. С. 185—187.

² Давыдов Денис. Стихотворения. С. 206—207.

³ Там же. С. 129.

⁴ Русский архив. Кн. II. 1874. С. 773.

⁵ Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 4. М., 1954. С. 369.

⁶ Свидетельство Бартенева см. в кн.: Жихарев С. П. Записки современника. М.; Л., 1955. С. 705—706; А. Марина — в кн.: Марин С. Н. Полн. собр. соч.: Критико-биографич. очерк, научное описание рукописей/Ред. и комм. Н. Арнольди//М., 1948. С. 456, 485, 488—489.

⁷ Давыдов Денис. Сочинения/Предисл., подг. текста и прим. Вл. Орлова//М., 1962. С. 290, 525. Ср.: Давыдов Денис. Стихотворения. С. 198.

⁸ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. 2-е изд., испр. и доп. Письма. Т. I. М., 1982. С. 165 и по указ.; Сочинения. Т. I. М., 1978. С. 402—403.

⁹ РГИА, ф. 1343, оп. 31, № 746.

¹⁰ РГАДА, ф. 1406, оп. 1, № 751. Ср.: Давыдов Денис. Избранное/Вступ. статья, сост., комм. А. А. Ильина-Томича//М., 1984. С. 399.

¹¹ См.: Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980, по указ. («Михайловский-Данилевский А. И.»); Вацура В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». 2-е изд., доп. М., 1986. С. 306—316.

¹² РГБ, ф. 859. (Отчет ИПБ за 1903 г. С. 101).

¹³ Сборник Русского исторического общества. Т. 73. СПб., 1890. С. 458.

¹⁴ Там же. С. 553.

¹⁵ Давыдов Д. В. Сочинения. СПб., 1893. Т. 2. С. 295—297, 299, 300.

¹⁶ В. Г. Белинский и его корреспонденты. М., 1948. С. 68.

¹⁷ Гершензон М. История молодой России. М.; Пг., 1923. С. 70—71.

¹⁸ Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа: Политические сочинения. Письма. М., 1963. С. 39.

¹⁹ Батюшков К. Н. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 259—260.

²⁰ Пушкин. Т. 11. С. 84.

²¹ Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов/Ред., вступ. статья и комм. Вл. Орлова//Л., [1934]. С. 309.

²² Давыдов Д. В. Сочинения. Т. 3. С. 111—112, 114—121.

²³ Пушкин. Т. 14. С. 140.

²⁴ Русская старина. 1903. № 8. С. 446.

²⁵ Жуковский В. А. Сочинения: В 3 т. М., 1980. Т. 3. С. 496.

²⁶ Давыдов Д. В. Сочинения. Т. 3. С. 157, 158—159.

²⁷ РГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 5311. Этот текст и все последующие анализируемые материалы опубликованы нами в изд.: Давыдов Денис. Стихотворения. Л., 1984. С. 165—167.

²⁸ Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 113; Пушкин. Т. 14. С. 62; Баратынский Е. А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1987. С. 184.

²⁹ Русская старина. 1903. № 8. С. 446—447.

